

18+

Маргарита Шемякина

# Віно и апельсин



Маргарита Шемякина

**Вино и апельсин**

«Издательские решения»

**Шемякина М.**

Вино и апельсин / М. Шемякина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-691635-7

Это книга, которая всерьёз занимается тем, что принято считать пустяками. Здесь разбрасываются апельсиновые корки, наливается вино, ругаются и мирятся родственники, но неожиданно прорастает взросление, утрата и чувство узнавания — да, со мной было то же самое! Эти рассказы не умствуют и не напрашиваются в «большую литературу» — но ведут себя как она: точный взгляд, живой язык и полный иронии интерес к тому, как устроена наша повседневность. В них всё, как в жизни, но чуть резче, ярче и честнее.

ISBN 978-5-00-691635-7

© Шемякина М.  
© Издательские решения

## Содержание

Васькины косы	6
Бабуля на шкафу	10
Возвращение	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

# **Вино и апельсин**

**Маргарита Шемякина**

© Маргарита Шемякина, 2026

ISBN 978-5-0069-1635-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Васькины косы

Девочку звали Васькой.

В свидетельстве о рождении было написано «Василиса» – Васька представляла себе черно-белый старый фильм, какие-то расшитые жемчугом кокошники и поклоны в пол после каждой фразы.

Но звали ее Васькой, а иногда Васюней или Васютой, это уж по настроению мамы и папы. Конечно, для девочки это было странное имя, совсем не девчачье, и даже, может, не человеческое, а скорее кошачье. Когда мама злилась на Ваську, она говорила строго «Вася!», поэтому пусть уж лучше «Васька».



– За год будут косы, – она быстро сплела все волосы в какую-то замысловатую косичку, кончик которой украсила бантом

А злилась мама часто. Васька не так стояла, не так ходила, играла, ела и бегала. Главным маминым упреком было: «Ты же девочка!». После этого, по словам мамы, надо было посмот-

реть на себя в зеркало. Из зеркала смотрела чумазая курносовая физиономия со встрепанными неровно постриженными волосами. Васька смотрела и не могла понять, что делать, чтобы быть такой, как надо. И было Ваське шесть лет.

Васька не любила играть в куклы. Нарядиться в длинные платья тоже не любила. Ей нравилось лазать по деревьям, забивать гвозди и играть на самодельной гитаре, которую папа склеил для нее специально из досочек, а вместо струн натянул разноцветные проволоки. Вот этого момента, когда Васька выходила на середину комнаты со своей занозистой гитарой и тренькала по проволокам, мама выносить совсем не могла. Она или отворачивалась, или плевалась, бормоча, что Васька пошла целиком в своего папашу. Маму расстраивать не хотелось, и Васька шла смотреться в зеркало, понимая, что виновата.

Редко, очень редко мама оборачивала Ваську старой простыней, сажала перед собой на табуретку и брала в руки старые ржавые тупые ножницы. Не то, чтобы она хотела стричь Ваську именно тупыми ножницами, просто это были единственные ножницы в доме. Мама долго и меланхолично перебирала Васькины волосы, а Васька замирала от счастья, потому что в такие моменты мама была совсем с ней, совсем ее. Потом мама оттяпывала на удачу несколько прядей тут, тут и там. И долго смотрела на полученный результат. А потом разочарованно говорила, что ничего ей, Ваське, не поможет. И Васька шла смотреться в зеркало и ругать себя – мама опять была ею недовольна.

Родители убивали друг друга медленно, но страстно. Упреками, скандалами, долгим молчанием, а иногда и по-настоящему – табуретками, ножами и топорами. Васька металась между мамой и папой, заглядывала им в глаза, пыталась быть очень хорошей, чтобы они поменьше злились. Получилось у нее плохо – мама плакала, папа пил.

По ночам Ваське было страшно спать – она боялась, что, если заснет, то не сможет помешать чему-то страшному, что произойдет между мамой и папой. Но помешать ничему она уже не могла – чтобы не убить друг друга окончательно, родители решили развестись. В тот год, когда началась школа, ее отправили к бабушке. Жить у бабушки Ваське нравилось – там было уютно, тепло и очень вкусно. Но Васька очень скучала по маме и не понимала, почему мама все-таки ее бросила. Да нет, конечно, понимала – ну кому нужна такая нелепая, неуклюжая девочка, которая не так ходит и не так стоит, да еще и тренькает на гитаре? Но об этом думать было совсем невыносимо, и Васька плакала и ждала, когда мама все-таки соскучится по своей глупой Ваське и заберет ее домой.

Бабушка обрушила на Васькину неровно стриженную голову всю мощь неизрасходованного доселе чадолюбия. Видимо, пока росли ее собственные дети, у нее было достаточно всяких других интересных дел. Вопреки расхожим представлениям о бабушкиной любви, она не сюсюкала и не потакала. Эта конкретная любовь выражалась в планомерном обучении Васьки тонкостям домоводства, кулинарии, кройки и шитья, вышивания, вязания, а также в передаче женской премудрости. Бабушка не терпела интриг, сплетен и недоговорок, была по-мужски тверда, пряма и негибаема, как остро отточенный стальной нож. Главным и единственным женским оружием бабушка считала длинные волосы. Увидев васькину челку, обкромсанную тупыми ножницами, бабушка поцокала языком и вынесла вердикт:

– За год будут косы, – она быстро сплела все волосы в какую-то замысловатую косичку, кончик которой украсила бантом.

«За год...» – обмерла Васька, но ничего не сказала.

Сама бабушка была большим экспертом по части кос. Их зачатки были видны уже на ее детских фотографиях, а к старшей школе бабушкины косы достигли мыслимой длины – в распущенном состоянии касались земли, в заплетенном доходили до лодыжек. Какой-то смутный поэт по имени Семен, от поцелуев с которым у бабушки в юности распухали губы, посвящал этим косам, «припорошенным снегом», стихи.

На эти косы, как на рыболовный трал, бабушка поймала множество мужчин. До восемнадцати лет она гордо носила свое богатство, чуть не доходящее до резинок белых носочков, по дорожкам и лестницам санаториев Кисловодска, и молодые инженеры и военные слетались к ней, замороженные этим невиданным зрелищем и мучались от ее невнимания. Она заплетала их на бурятский манер, около висков, и эти толстенные блестящие канаты, высокие азиатские скулы и яркие зеленые глаза убивали мужчин наповал. Кроме того, она обладала крайне независимым характером, бегала многокилометровые лыжные кроссы по тайге, была первой женщиной-Ворошиловским стрелком в Бурят-Монголии и играла характерные роли в театре. Но свой невероятный успех приписывала одним только косам.

По утрам Васька просыпалась раньше, чем начинал дребезжать зеленый круглый будильник на хлипких ножках из нержавейки. Просыпалась где-то внутри, но еще долго лежала с закрытыми глазами, закутавшись в одеяло, постепенно вспоминая себя и прислушиваясь к первым словам, рождавшимся внутри, и к утренним звукам снаружи. Васька лежала и думала о маме, где она, что делает, скучает ли, и когда уже заберет Ваську к себе.

По пустой улице редко профыркивал автобус, на остановке тяжело, в несколько приемов выдыхал, открывая двери, потом еще раз, закрывая, и уезжал в сторону моря. Было тихо-тихо, только от стен близко стоящих домов гулко отдавался стук каблучков женщин, спешащих на завод. Быстро и тяжело стучали подкованные ботинки – торопился вернуться в училище курсант после увольнения, к утреннему разводу. Горлица на балконе ворковала громко и монотонно, ритмично, как будто кто-то водил карандашом по расческе. Один длинный раскат, два коротких. Рrrrrrruuу-rrу-rrу. Рrrrrrruuу-rrу-rrу. Васька тянулась за расческой, всегда лежавшей в изголовье, и тренькала ею о металлические прутья кровати, ловя ритм. Нажимала на коричневую кнопку не успевшего прозвонить будильника. Не выпуская из рук расчески, брала две скатанные в трубочку ленты. Всё, надо готовиться к экзекуции. В качестве подготовки к утренней пытке следовало расчесать волосы 50 раз по направлению роста, потом свесить их вперед, и расчесать еще 50 раз.

Бабушка вытягивала из васькиной головы косы, невзирая на ее писк и слабые жалобы. Васька подходила к ней со скамеечкой, расческой и лентами, и каждое утро надеялась, что случится чудо и она пойдет в школу так. Незаплетенная.

– Расчесалась? Садись, – хищно улыбалась бабушка.

– Может, не надо?...

– Надо. Нечего! Зато будешь красавица с длинными волосами!

Уже в середине процесса заплетания глаза потенциальной красавицы распаивались широко-прешироко.

– Терпи, казак, атаманом будешь! – приговаривала бабушка, упиралась коленом Ваське в спину и тянула волосы изо всех сил. А сил в ее руках, привыкших к топору и вымешиванию теста, было предостаточно. Васька издавала предсмертный хрип. – Так, – бабушка оглядывала две колбаски, торчавшие по бокам васькиной головы. – Сегодня сделаем баранки.

Баранки – это лучше, чем корзиночка. Корзиночка дополнительно перетягивала голову от уха к уху.

– Прекрасно! – бабушка отодвигала Ваську на расстояние вытянутой руки и придирчиво оглядывала. Над немигающими широко раскрытыми глазами, полными слез, топорщились огромные хитроумные банты, из которых выглядывали почки баранок. – Иди в школу. Васька удалялась, стараясь не вертеть головой.

Ей было больно, но это было хорошо. Эта боль позволяла отвлечься и не думать о том, что мама все не едет за ней, все не забирает ее домой. За время, проведенное у бабушки, Васька свыклась с обеими, и ей в конце концов стало казаться, что и боли-то никакой нет, просто жизнь идет вот так.

И когда через два года мама наконец-то забрала ее к себе, в совсем другой дом, в другую квартиру, где жил не ее папа, а новый мамин муж, Васька уже не знала, радоваться ли ей. Ей казалось, что это не ее мама, а какая-то почти незнакомая чужая женщина. И тогда Васька распустила свои, уже доходящие до лопаток, косы, взяла в шкафу старую простынь, и, найдя в секретере те же тупые ржавые ножницы, замирая сердцем от предвкушения, что вот сейчас мама станет совсем ее, подошла к ней и попросила:

– Мама, постриги меня. Как раньше. Покороче.

## Бабуля на шкафу

Однажды, весенним днем где-то в конце восьмидесятых моя семидесятилетняя бабуля сидела на платяном шкафу.

Вообще-то моя бабуля всегда была человеком очень уважаемым. С тех пор, как ей исполнилось двадцать, все ее звали по имени-отчеству, нежно ввинчивая в середину уменьшительно-ласкательный суффикс: Нюночка Васильевна.

Саму бабулю уменьшать уже было в общем некуда, она и так была ростом 153 сантиметра. Этим суффиксом, возможно, старались чуть приглушить ту степень воздействия, которое она оказывала на окружающий мир. От нее непрерывно исходила оглушающая трансформационная волна мощностью в пять Хиросим. Сломанные приборы в одном ее присутствии начинали работать, дети выздоравливали и даже вода в море теплела. И хотя ее любимой поговоркой было: «Само ничего не делается!», складывалось такое впечатление, что все делалось именно само, как во дворце Зверя Лесного из «Аленького цветочка». Сами закатывались и строились батальоны банок, само стиралось-гладилося и крахмалилось до морозного скрипа, шились платья, накрывались ежедневные пиршества и в доме наводился «марафет». А также сколачивалась мебель, забивались гвозди и рубились дрова – деду она сложных или опасных работ не поручала, часто и громко намекая на то, что рукава ему следует пришивать прямо к штанам. Все делалось само, а бабуля крутилась где-то рядом, в изматывающем желании найти хоть что-то еще не сделанное, чтобы как-то унять пылающий внутри пожар и израсходовать толику разрывающей ее энергии в мирных целях.

Однако и у металла бывает усталость. Так, порой бабулю одолевал приступ лени. Томно укутав себя в облако папиросного дыма, она нежилась в кресле у окна.

– Что-то у меня сегодня нет настроения готовить, – говорила она, как самая обыкновенная женщина. И сразу круто уходила в пике: – Поэтому делаем пельмени!

Из моего сегодняшнего урбанистического далека фраза «Приготовим пельмени!» не кажется особенно пугающей. Протянул руку, достал из морозилки пакет с неизвестно когда, кем и из чего скатанных камушков, и бросил их в кипящую воду. Но в сказочные времена, о которых я повествую, все было иначе. В нашем доме, где росли девочки, словом «полуфабрикат» даже не ругались.

На огонь ставилась вода в большой эмалированной кастрюле с говяжьей костью и частью курицы, чтобы через три часа стать крепким бульоном. Не слишком жирным, но и, конечно, не постным, очень соленным, терпким, душистым, содержащим все необходимые травы и корни. Такой бульон отлично пить прямо из чашки, с маленькими розоватыми пирожками. Впрочем, сегодня пирожков не будет, у бабули нет настроения готовить, так что сегодня – пельмени.

Женское население квартиры, а также соседки, которые зашли посудачить, все подключались к подсобным работам. Подобно поваряткам, огромным и неуклюжим по сравнению с махоньким шефом, блиставшем в эпицентре кухонного взрыва, мы металась у печи и мойки, собирая мясорубку, нарезаая мясо на куски нужного размера, снимая пену с бульона, доставая сало из морозилки, чистя лук, прокручивая фарш и просеивая муку.

Бабуля месила тесто. На огромной, ею же сколоченной доске, своими крупными для ее роста руками – правой разминала, левой заворачивала, постоянно присыпая просеянной мукой, не снимая предварительно фамильного кольца с рубинчиком. В оправу тут же забивалось тесто. Месила сильно и равномерно, приговаривая: «Учитесь, пока я жива!».

Потом лепили. Лепили все, но только она стреляла пельменями со скоростью пулемета Максим. Она выпуливала ровненькие маленькие пельмешки из рук – две секунды на один пельмень. Иногда мы начинали с ней соревноваться, но это было абсолютно бесполезно. В конце этой эпопеи, которая проходила под девизом «Что-то сегодня у бабули нет настроения готовить» все горизонтальные поверхности кухни были припорошены мукой и покрыты пельменями. После этого звались гости – должен же кто-то все это съесть, не замораживать же еду, в самом деле!

В конце обеда все тяжело отдувались. В пельмени добавляли горчицу, уксус, перец. Кто-то ел с бульоном, кто-то со сметаной. Взрослые выпивали предварительно по рюмке водки. Мало кто мог услышать свой внутренний насытившийся голос, потому что за ушами хрустело, ложки активно стучали по тарелкам, и, главное, было очень вкусно. До умопомрачения вкусно. Остановиться было невозможно. Останавливались, когда все пельмени были съедены.

– Ну, Нинюшка, сегодня был королевский обед! – чинно произносил дед свою ежедневную фразу.

– М-да? – скептически поджимала губы бабуля и давила в пепельнице свою послеобеденную папиросу. – Ну ладно... так, девочки, давайте, быстренько, раз-два, одна нога здесь, другая там! Посуду убрали-помыли-вытерли, и стол хорошенько протрите – я на нем буду кроить. А пока... – с этими словами она хватала молоток и куда-то убегала.

Мы тяжело провожали ее осоловевшими глазами и пытались придать себе импульс, чтобы быстренько последовать поступившему приказу. Одна нога уже и так была здесь, а другая там – после бабулиных обедов все были, как туго надутые резиновые пупсы.

Все, что рассказывают о трудовых подвигах моей бабули – сушая правда. Она умела смолить лодку, и делала это регулярно, когда ходила ловить омуля на Байкале. Она сама склотила и склеила половину мебели в доме. Она провела канализацию на второй этаж в нашу квартиру, не оборудованную до той поры ватерклозетом, и установила унитаз. Она перелицевала ботиночек моей младшей сестры Насти – из левого сделала правый, вот возникла такая жизненная необходимость. Конечно же, она регулярно белила, красила и шпаклевала. Она резала из бересты тески, большие и малые, остро оточенным охотничьим ножом. Все это было, было, да, но на это как-то не обращалось особого внимания. Лично для меня было просто нормально, что бабуля может всё.

Но один случай уверил меня, что она, кроме всего прочего, может и колдовать.

Советские дети, выросшие в условиях тотального дефицита, меня поймут – в 11 лет мне подарили кубик Рубика. Он был абсолютно настоящий, он пах, как... не знаю... вы, будучи советским неизбалованным ребенком, нюхали настоящий кубик Рубика? Он скрипел правильно. Он был в прозрачной коробочке, с блестящими наклейками. Его грани нездешних цветов весело смотрели на меня, и я не знала, какая мне нравится больше. И он был МОЙ!

Мне вообще мало что покупали. Но его и купить, наверное, было попросту негде. Не помню, как уж мама в Москве его достала. Зато хорошо помню момент, когда его вытащили из посылки. Это? Мне?! Взрыв. Триумф. Восторг. Осознание, что теперь-то в жизни точно все будет хорошо. Так чувствует себя юная мать, когда ей в родзале прикладывают ее первенца к груди. На выдохе я приложила мой кубик Рубика к сердцу и побежала во двор. Во дворе я подняла голову и издала протяжный крик счастья в сева­сто­польское небо, и стала подбрасывать мое неожиданное, и от этого еще более ошеломляющее чудо все выше... в это самое небо... может, показать хотела... У меня! Есть! Настоящий! короче, он упал.

От уровня моих промахнувшихся рук до утопанной земли двора он летел очень-очень медленно. Так медленно, что я еще успела надеяться, что, упав на землю, а не на асфальт, он останется цел. Ударившись, еще медленнее разлетался на косточки... некоторые из них развалились на осколки... его скелет оказался стеклянным и с пружинками внутри... я упала в пыль и стала наощупь, ничего не видя от слез, ползать и собирать в подол платья то, что только что было еще живым, теплым, невероятным.

Кто и как привел меня домой, не помню. Кто-то привел, сама я идти не могла.

Бабуля коротко спросила:

– Где? – и куда-то ненадолго ушла.

Первый час я рыдала громко и монотонно. Прибежала соседка и оживленно спросила, кто у нас умер. Ей объяснили. «Наша Таня громко плачет»... потому что наша Таня – непроходимая дура. То, что я сама виновата в утрате своего ненаглядного кубика, которым провела всего десять минут, совсем не помогало, наоборот. Я горевала над останками убитого собственными руками счастья.

Пришел с работы дед. Бросился ко мне, на всякий случай ощупал руки и ноги, проверяя на целостность костей, в ужасе долго не мог понять, что же все-таки случилось, прикручивал и регулировал за ухом свой посвистывающий слуховой аппарат, примериваясь к моему вою и наконец запричитал, глядя меня по растрепанным косичкам, слегка окая и морщась от моей боли:

– Донечка, ну что же ты... разве можно? маленькая моя... это же просто пластмасска... ну что ты?.. дурочка... – вот с этим аргументом я была полностью согласна. – Нинонька, ну накапай ей валерианы или пустырничка...

– Нечего! – отвечала бабуля, тревожно косясь на меня. Слезные истерики в доме не приветствовались, но я никак не могла взять себя в руки и сделать вид, что жизнь продолжается. – Ничего, побольше поплачет, поменьше пописает.

Критически оглядев меня и поняв, что от меня сегодня в хозяйстве пользы как с козла молока, бабуля быстро накапала каких-то настоек, велела умыться холодной водой и отправила спать.

Уходя в дальнюю комнату, я видела, как дед искательно и робко заглядывает бабуле в лицо:

– Нинонька, а ты не сможешь?..

– Посмотрим, – отрывисто бросила бабуля, не разжимая зубов, прикусивших вечную беломорину.

Слезы лились и лились, уже тихо, и перед моим внутренним взором милый кубик снова и снова взмывал в последний раз из преступных рук в крымскую синь, а потом медленно-медленно падал... Когда все силы вытекли через глаза, пришло забытьё. Ранним утром, руками разлепив черепашины опухшие веки, я первым делом увидела его. Он стоял на радиоле перед кроватью совершенно целый, правда, со следами ночной операции – некоторые части были собраны по кусочкам и склеены какой-то вонючей смесью бабулиного производства, она ночью замесила из эпоксидки и других одной ей известных ингредиентов. Он глядел на меня своей оранжевой радостной стороной и совершенно определенно был скорее жив, чем мертв. Сверху лежала записка: «Работает. Пока не высохнет, не трогай. Гулька, ты балда!». Конечно, я его трогать и не собиралась. Я обняла записку, счастливо повздыхала от сознания, что все произошедшее вчера – это всего лишь сон, и уснула до обеда.

– «от у нас ба-а-аба! – говорил в миллионный раз дед на следующий день за завтраком, широким жестом приглашая весь мир подивиться на необыкновенную «бабу», по счастливой случайности доставшуюся ему в распоряжение. Он сворачивал рулончиком толстые сибирские блины, и масло с сахаром текло по его белым аристократическим, уже подсушенным возрастом пальцам. Он снова заливался радостным смехом, слегка подбирая нижнюю губу, и его глаза полностью прятались в счастливых морщинках: – Да, донечка? Правда? Ведь вот из та-а-акусеньких кусочкоу... – он складывал в щепотку свои пальцы, измазанные в блинах.

Я радостно кивала с максимальной амплитудой, которую позволяли до хруста в ушах заплетенные косички.

– Ай, Ефимчик, отстань! – бабуля поднимала ладонь с растопыренными пальцами. – Сколько можно уже, в самом деле?

Минута проходила в молчании. Мы жевали.

Потом дед опять начинал хохотать.

– Ну «от у нас ба-а-аба!

– Ефим, бикицер! – бабуля угрожающе поднимала интонацию. – Иди в баню!

Он ее обожал. Иногда взхлеб, как ребенок. Иногда стиснув зубы, как мужчина, единожды давший слово. Иногда, по зову семитской крови, покорно, как еврей обожает карающую десницу. Он был поставлен один, почти один, рукоплескать той, для которой, казалось бы, были отлиты фанфары всего мира. Она могла бы, со всеми своими талантами и бешеной энергией, украсить сцену любого театра. Или стать знаменитым хирургом, спасающим жизни. Она могла бы достичь заоблачных высот в любом, наверное, деле. Но стала домохозяйкой, как это ни печально звучит. И он, отбивая руки в кровь, славил ее, и хлопал, и кричал «бис!» – за весь мир. К ее большой и вечной досаде. А кроме того, он не умел столярничать, сапожничать и ремонтировать дом. А умел только писать статьи и любить. И больше ничего.

Сейчас модно говорить о гендерных ролях, о том, что мужчина должен открыть в себе мужественность и забивать гвозди, а женщина – наоборот, открыть женственность, и, соответственно, гвоздей не забивать. Но восемьдесят лет назад этого прокрустова ложа, в которое обязаны втискивать себя мои современники, не существовало. А если бы вдруг... если бы дед вместо пищащей машинки вдруг схватил топор и другие острые инструменты, а бабуля бы, стыдливо опустив очи долу, засела за пальцы, они бы недолго просуществовали в подобном режиме. Потому что дед сразу бы нанес себе увечья, несовместимые с жизнью, а бабуля бы попросту взорвалась. За пальцами – не тот драйв.

Когда я была маленькая, мне казалось, что нелепый, неповоротливый дед издевается над бедной, измотанной домашними делами, всегда пахнувшей корицей и клеем бабулей, и все делает неправильно с одной-единственной целью – поскорее свести ее в могилу. Например, он стеснялся закупать огурцы в колхозе по специальной цене для сотрудников, и покупал их уже в колхозном магазине, на несколько копеек дороже. Или мог утром, после бритья, перепутать свой одеколон и бабулины духи и вылить на себя полфлакона. Много разных гадостей делал. И я ее жалела и плакала, когда она в очередной раз, доведя себя до нервного припадка, валилась в обморок и начинала умирать.

Потом я с юношеской категоричностью жалела уже любящего, бессловесного в семейных делах деда, над которым глумилась громкая и всегда полная сил бабуля, а он только боялся, как бы она не перенервничала больше обычного, и лишь все глубже уходил в свою скорлупу, теряя постепенно сначала слух, а потом и зрение.

И только став старше и прочитав несколько сотен книг, я вдруг увидела в этой самой родной для меня паре и объем, и динамику, и живую жизнь, которую невозможно было вписать в известные рамки и схемы, потому что живое ни в какие схемы не влезает. Это прозрение пришло ко мне одномоментно, в один февральский день, когда я, студентка, читала уже совершенно ослепшему деду газету.

Надо сказать, что, хотя он и был уже слепой, но какие-то домашние подсобные работы по велению бабули все равно выполнял. Например, в это утро ему было приказано вымыть сковородку. Что он и осуществил по мере сил, а именно – наощупь. А потом сел слушать последние новости в моем исполнении. Но, видимо, результат мытья бабулю не порадовал.

– Ефiiiiииим!!! – раздался из кухни раскат бабулиного обычного взрыва досады. Мы оба привычно вздрогнули. Дед прикрутил колёсико слухового аппарата.

На пороге комнаты стояла пылающая гневом бабуля, в руках – сковородка.

– Ты мыл сковородку, скажи, пожалуйста?! – орала она, потрясая кухонной принадлежностью. – Ты ее помыл?! Она же вся жирная! Мне ее теперь перемывать! Это же мартышкин труд! Я тебе что, мартышка?!

Я страдальчески закатила глаза, не готовясь ни к каким открытиям.

– Нет, Нинюшка, ты не мартышка, – спокойно и ласково ответил дед. – Ну какая же ты мартышка? Ты и на мартышку-то не похожа... ну нет, ты не мартышка.

Она постояла, переваривая его ответ. Видимо, информация совершенно удовлетворила ее, потому что она спокойно повернулась и пошла перемывать сковородку.

А теперь вернемся к началу рассказа, а именно: однажды моя бабуля сидела на шкафу.



Раз в два года она белила

Занесла на шкаф всеми уважаемую мать и бабушку семейства насущная необходимость – раз в два года бабуля белила. Так она и оказалась сидящей там, с ведром белил и кистью из мочала, на голове – шапочка из газеты, на крошечных ножках, свешивающихся со шкафа – клетчатые тапочки. Перед шкафом – сколоченные ею же козлы, на которых стоит табуретка. Как я уже говорила, бабуля была маленького роста, а потолки в комнате высокие. Сидит и шурует кистью по потолку. И тут ей стало плохо с сердцем. Сначала чуть защемило, она подергала плечом и продолжала белить. Потом видит – дело плохо. Продохнуть нет сил. Сжалась в комочек. Чувствует, не справится с ситуацией. Обняла кисть из мочала и тихонечко прилегла возле ведра с белилами, умирать. Лежит, в глазах уже темно, с белым светом прощается. Ефим-то один не сможет... Воздуха все меньше, на помощь позвать некого. И до того ей стало жалко и его, и себя, что слезы потекли. Как жила? Что сделала? И как умирает вообще?

«Вот, думает, придут люди, посмотрят на шкаф, и скажут: какая же глупая эта Нинка, даже помереть нормально не смогла...».

И от того, что помирает она так непрофессионально и нелепо, так второпях и между делом, лежа в одиночестве на платяном шкафу, в газетной шапочке на голове, обнявши какое-то мочало и подобрав под себя ноги в клетчатых тапочках, она начала слабо подхихикивать, используя оставшийся в легких воздух. Потом ее посетила мысль, что ее и обнаружить-то сразу не удастся тем, кто придет сюда соболезновать и сокрушенно качать головами. Приступ гоме-рического хохота поднял ее, и усадил, и воздух толчками вошел в легкие. А она стала смеяться все громче, и хлопать себя по оттянутым коленкам рабочих треников, и откидываться назад, и наклоняться вперед, утирая текущие уже от смеха слезы и рискуя упасть со шкафа и погибнуть-таки в этот весенний день где-то в конце восьмидесятых.

Отсмеявшись, она покрутила плечом, повернулась направо-налево, поняла, что спазм миновал, и продолжила белить потолок над шкафом. Надо же закончить работу, в самом деле. Само ничего не делается. Да и что там белить? Раз-два – и готово.

## Возвращение

– И обязательно покушай, – голос бабушки был слабый и прозрачный, как старый, истертый лист бумаги. Она шелестела, делая усилия, чтобы звучать отчетливо.

Я скучливо покачала ногой в старом стоптанном тапке, на три размера меньше необходимого. О Господи, ну зачем я приехала? Закатила глаза в потолок – тот требовал побелки. Поскорее перевела взгляд обратно на свою ногу – там-то как раз все было в порядке, педикюр был сделан прямо перед отлетом.

– Не, бабуль, спасибо, я вечером не ем...

– Что за глупости?.. Как это – с самолета, и не поесть?..

– Слушай, мне 37 лет. Я как-нибудь разберусь... поспи, что ли... пойду чаю попью, пить хочется.

И я пошла на кухню, от кровати, на которой лежала-томилась моя девяностолетняя пра-родительница. Чай, конечно, был предложено. Мне просто нужно было уйти. Рядом было слишком неуютно, слишком ни о чем, а еще тягостно и виновато.

Дом пах детством.

Несмотря на то, что здесь теперь, из-за того, что древние трубы постоянно текли, было очень сыро и цвели стены. Несмотря на то, что бабуля уже лет пять как не пекла своих знаменитых пирогов, да и вообще ничего не готовила. Запах детства мощно ощущался уже на подходе к квартире. Как его описать? Как пахнет надежда... Радостное ожидание праздника и подарков на день рожденья, сто маленьких золотистых пирожков с капустой, три торта, сшитое бабулей накануне новое платье, куча гостей, и две больших посылки из Москвы, с разных адресов – одна от папы, одна от мамы... Утро накануне большого парада, на день пионерии, костюм мы с бабулей делали сами, и мой был всегда самым лучшим. Полулегальные куличи на Пасху – очень сдобное тесто, яркое от домашних желтков, много-много ванили и обильная белковая глазурь. Утром в Страстную пятницу (бабуля всегда пекла по ночам) они стояли вот здесь, на серванте, праздничные и благоухающие. Дедушкин одеколон («Красный мак»?) – странно, деда уже двенадцать лет как нет, а запах остался, сервант, что ли им пропитался?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.